



БОЛЬШЕ ЧЕМ КЛАССИКА

— читаем и анализируем

Классика для экзаменов и для себя

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Фёдор Михайлович
ДОСТОЕВСКИЙ

Полный текст
произведения

Материалы
для анализа

Вопросы и темы
для сочинений

Больше чем классика: читаем и анализируем

Федор Достоевский

Преступление и наказание

«ЭКСМО»

1866

УДК 821.161.1-31(07)
ББК 84(2Рос=Рус)1-44я721

Достоевский Ф. М.

Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский — «Эксмо»,
1866 — (Больше чем классика: читаем и анализируем)

ISBN 978-5-04-250780-9

Книга содержит полный текст романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» и учебно-справочные материалы для подготовки к урокам, экзаменам и написанию сочинений. В книге приводятся: • история создания произведения; • подробный план; • ключевые эпизоды; • характеристика героев; • объяснение устаревших слов; • аргументы для сочинений; • развёрнутые ответы на вопросы по произведению и другие материалы. Издание идеально подойдёт для школьников, сдающих ОГЭ и ЕГЭ, преподавателей, ценителей классики, а также для всех, кто хочет понять произведения русской литературы.

УДК 821.161.1-31(07)
ББК 84(2Рос=Рус)1-44я721

ISBN 978-5-04-250780-9

© Достоевский Ф. М., 1866
© Эксмо, 1866

Содержание

Преступление и наказание	6
Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Фёдор Михайлович Достоевский

Преступление и наказание

© Маханова Е. А., комментарии, 2026

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2026

* * *

Преступление и наказание

Роман в шести частях с эпилогом

Часть первая

I

В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту.

Он благополучно избегнул встречи с своею хозяйкой на лестнице. Каморка его приходилась под самую кровлей высокого пятиэтажного дома и походила более на шкаф, чем на квартиру. Квартирная же хозяйка его, у которой он нанимал эту каморку с обедом и прислугой, помещалась одною лестницей ниже, в отдельной квартире, и каждый раз, при выходе на улицу, ему непременно надо было проходить мимо хозяйкиной кухни, почти всегда настежь отворённой на лестницу. И каждый раз молодой человек, проходя мимо, чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был должен кругом хозяйке и боялся с нею встретиться.

Не то чтоб он был так труслив и забит, совсем даже напротив; но с некоторого времени он был в раздражительном и напряжённом состоянии, похожем на ипохондрию¹. Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся даже всякой встречи, не только встречи с хозяйкой. Он был задавлен бедностью; но даже стеснённое положение перестало в последнее время тяготить его. Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься. Никакой хозяйки, в сущности, он не боялся, что бы та ни замышляла против него. Но останавливаться на лестнице, слушать всякий вздор про всю эту обыденную дребедень, до которой ему нет никакого дела, все эти пристаивания о платеже, угрозы, жалобы, и при этом самому изворачиваться, извиняться, лгать, – нет уж, лучше проскользнуть как-нибудь кошкой по лестнице и улизнуть, чтобы никто не видал.

Впрочем, на этот раз страх встречи с своею кредиторшей даже его самого поразил по выходе на улицу.

«На какое дело хочу покуситься и в то же время каких пустяков боюсь! – подумал он с странною улыбкой. – Гм... да... всё в руках человека, и всё-то он мимо носу проносит единственно от одной трусости... это уж аксиома... Любопытно, чего люди больше всего боятся? Нового шага, нового собственного слова они всего больше боятся... А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так: оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать, лёжа по целым суткам в углу и думая... О царе Горохе. Ну зачем я теперь иду? Разве я способен на *это*? Разве *это* серьёзно? Совсем не серьёзно. Так, ради фантазии сам себя тешу; игрушки! Да, пожалуй что и игрушки!»

На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду извёстка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, – всё это разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. Нестерпимая же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное

¹ Ипохондрия – чрезмерная мнительность на фоне мрачного настроения.

множество, и пьяные, поминутно попадавшие, несмотря на буднее время, совершили отвратительный и грустный колорит картины. Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло на миг в тонких чертах молодого человека. Кстати, он был замечательно хорош собою, с прекрасными тёмными глазами, тёмно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен. Но скоро он впал как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, как бы в какое-то забытё, и пошёл, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе признался. В эту же минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел.

Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днём выходить в таких лохмотьях на улицу. Впрочем, квартал был таков, что костюмом здесь было трудно кого-нибудь удивить. Близость Сенной, обилие известных заведений и, по преимуществу, цеховое и ремесленное население, скученное в этих срединных петербургских улицах и переулках, пестрили иногда общую панораму такими субъектами, что странно было бы и удивляться при встрече с иною фигурой. Но столько злобного презрения уже накопилось в душе молодого человека, что, несмотря на всю свою, иногда очень молодую, щекопливость, он менее всего совестился своих лохмотьев на улице. Другое дело при встрече с иными знакомыми или с прежними товарищами, с которыми вообще он не любил встречаться... А между тем, когда один пьяный, которого неизвестно почему и куда провозили в это время по улице в огромной телеге, запряжённой огромною ломовою лошадию, крикнул ему вдруг, проезжая: «Эй ты, немецкий шляпник!» – и заорал во всё горло, указывая на него рукой, – молодой человек вдруг остановился и судорожно схватился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская², но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. Но не стыд, а совсем другое чувство, похожее даже на испуг, охватило его.

– Я так и знал! – бормотал он в смущении, – я так и думал! Это уж всего сквернее! Вот эдакая какая-нибудь глупость, какая-нибудь пошлейшая мелочь, весь замысел может испортить! Да, слишком приметная шляпа... Смешная, потому и приметная... к моим лохмотьям непременно нужна фуражка, хотя бы старый блин какой-нибудь, а не этот урод. Никто таких не носит, за версту заметят, запомнят... главное, потом запомнят, а и улика. Тут нужно быть как можно неприметнее... Мелочи, мелочи главное!.. Вот эти-то мелочи и губят всегда и всё...

Идти ему было немного; он даже знал, сколько шагов от ворот его дома: ровно семьсот тридцать. Как-то раз он их сосчитал, когда уж очень размечтался. В то время он и сам ещё не верил этим мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту как-то даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил. Он даже шёл теперь делать пробу своему предприятию, и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее.

С замиранием сердца и нервною дрожью подошёл он к преогромнейшему дому, выходящему одною стеной на канаву³, а другою в-ю улицу. Этот дом стоял весь в мелких квартирах и заселён был всякими промышленниками – портными, слесарями, кухарками, разными немцами, девицами, живущими от себя, мелким чиновничеством и проч. Входящие и выходящие так и шмыгали под обоими воротами и на обоих дворах дома. Тут служили три или четыре дворника. Молодой человек был очень доволен, не встретив ни которого из них, и неприметно проскользнул сейчас же из ворот направо на лестницу. Лестница была тёмная и узкая, «чёр-

² Циммерман – известный в Петербурге владелец фабрики головных уборов и магазина на Невском проспекте.

³ Канавы – просторечное название Екатерининского канала.

ная», но он всё уже это знал и изучил, и ему вся эта обстановка нравилась: в такой темноте даже и любопытный взгляд был неопасен. «Если о сю пору я так боюсь, что же было бы, если б и действительно как-нибудь случилось до самого дела дойти?..» – подумал он невольно, проходя в четвёртый этаж. Здесь загородили ему дорогу отставные солдаты-носильщики, выносившие из одной квартиры мебель. Он уже прежде знал, что в этой квартире жил один семейный немец, чиновник: «Стало быть, этот немец теперь выезжает, и, стало быть, в четвёртом этаже, по этой лестнице и на этой площадке, остаётся, на некоторое время, только одна старухина квартира занятая. Это хорошо... на всякий случай...» – подумал он опять и позвонил в старухину квартиру. Звон брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах таких домов почти всё такие звонки. Он уже забыл звон этого колокольчика, и теперь этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул, слишком уж ослабели нервы на этот раз. Немного спустя дверь приотворилась на крошечную щёлочку: жилища оглядывала из щели пришедшего с видимым недоверием, и только виднелись её сверкавшие из темноты глазки. Но, увидав на площадке много народу, она ободрилась и открыла совсем. Молодой человек переступил через порог в тёмную прихожую, разгороженную перегородкой, за которою была крошечная кухня. Старуха стояла перед ним молча и вопросительно на него глядела. Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с острыми и злыми глазками, с маленьким острым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверхено какое-то фланелевое тряпье, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрёпанная и пожелтевшая меховая кацавейка⁴. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на неё каким-нибудь особенным взглядом, потому что и в её глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость.

– Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, – поспешил пробормотать молодой человек с полупоклоном, вспомнив, что надо быть любезнее.

– Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, – отчётливо проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица.

– Так вот-с... И опять, по такому же дельцу... – продолжал Раскольников, немного смутившись и удивляясь недоверчивости старухи.

«Может, впрочем, она и всегда такая, да я в тот раз не заметил», – подумал он с неприятным чувством.

Старуха помолчала, как бы в раздумье, потом отступила в сторону и, указывая на дверь в комнату, произнесла, пропуская гостя вперёд:

– Пройдите, батюшка.

Небольшая комната, в которую прошёл молодой человек, с жёлтыми обоями, геранями и кисейными занавесками на окнах, была в эту минуту ярко освещена заходящим солнцем. «И тогда, стало быть, так же будет солнце светить!..» – как бы невзначай мелькнуло в уме Раскольникова, и быстрым взглядом окинул он всё в комнате, чтобы по возможности изучить и запомнить расположение. Но в комнате не было ничего особенного. Мебель, вся очень старая и из жёлтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном, туалета с зеркальцем в простенке, стульев по стенам да двух-трёх грошовых картинок в жёлтых рамках, изображавших немецких барышень с птицами в руках, – вот и вся мебель. В углу перед небольшим образом горела лампада. Всё было очень чисто: и мебель, и полы были отёрты под лоск; всё блестело. «Лизаветина работа», – подумал молодой человек. Ни пылинки нельзя было найти во всей квартире. «Это у злых и старых вдовиц бывает такая чистота», – продолжал про себя Раскольников и с любопытством покосился на ситцевую занавеску перед дверью во вторую крошечную комнатку, где стояли

⁴ Кацавейка – короткая тёплая кофта.

старухины постель и комод и куда он ещё ни разу не заглядывал. Вся квартира состояла из этих двух комнат.

– Что угодно? – строго произнесла старушонка, войдя в комнату и по-прежнему становясь прямо перед ним, чтобы глядеть ему прямо в лицо.

– Заклад принёс, вот-с! – и он вынул из кармана старые плоские серебряные часы. На оборотной дощечке их был изображён глобус. Цепочка была стальная.

– Да ведь и прежнему закладу срок. Ещё третьего дня месяц как минул.

– Я вам проценты ещё за месяц внесу; потерпите.

– А в том моя добрая воля, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать.

– Много ль за часы-то, Алёна Ивановна?

– А с пустяками ходишь, батюшка, ничего, почитай, не стоит. За колечко вам прошлый раз два билетика⁵ внесла, а оно и купить-то его новое у ювелира за полтора рубля можно.

– Рубля-то четыре дайте, я выкуплю, отцовские. Я скоро деньги получу.

– Полтора рубля-с и процент вперёд, коли хотите-с.

– Полтора рубля! – вскрикнул молодой человек.

– Ваша воля. – И старуха протянула ему обратно часы. Молодой человек взял их и до того рассердился, что хотел было уже уйти; но тотчас одумался, вспомнив, что идти больше некуда и что он ещё и за другим пришёл.

– Давайте! – сказал он грубо.

Старуха полезла в карман за ключами и пошла в другую комнату за занавески. Молодой человек, оставшись один среди комнаты, любопытно прислушивался и соображал. Слышно было, как она отперла комод. «Должно быть, верхний ящик, – соображал он. – Ключи она, стало быть, в правом кармане носит... Все на одной связке, в стальном кольце... И там один ключ есть всех больше, втрое, с зубчатою бородкой, конечно, не от комода... Стало быть, есть ещё какая-нибудь шкатулка али укладка⁶... Вот это любопытно. У укладок всё такие ключи... А впрочем, как это подло всё...»

Старуха воротилась.

– Вот-с, батюшка: коли по гривне в месяц с рубля, так за полтора рубля причтётся с вас пятнадцать копеек, за месяц вперёд-с. Да за два прежних рубля с вас ещё причитается по сему же счёту вперёд двадцать копеек. А всего, стало быть, тридцать пять. Приходится же вам теперь всего получить за часы ваши рубль пятнадцать копеек. Вот получите-с.

– Как! Так уж теперь рубль пятнадцать копеек!

– Точно так-с.

Молодой человек спорить не стал и взял деньги. Он смотрел на старуху и не спешил уходить, точно ему ещё хотелось что-то сказать или сделать, но как будто он и сам не знал, что именно...

– Я вам, Алёна Ивановна, может быть, на днях, ещё одну вещь принесу... серебряную... хорошую... папиросочницу одну... вот как от приятеля ворочу... – Он смутился и замолчал.

– Ну тогда и будем говорить, батюшка.

– Прощайте-с... А вы всё дома одни сидите, сестрицы-то нет? – спросил он как можно развязнее, выходя в переднюю.

– А вам какое до неё, батюшка, дело?

– Да ничего особенного. Я так спросил. Уж вы сейчас... Прощайте, Алёна Ивановна!

Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это всё более и более увеличивалось. Сходя по лестнице, он несколько раз даже останавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И наконец, уже на улице, он воскликнул:

⁵ Билетик (*простореч.*) – рубль.

⁶ Укладка – небольшой сундук.

«О боже! Как это всё отвратительно! И неужели, неужели я... нет, это вздор, это нелепость! – прибавил он решительно. – И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способно, однако, моё сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!.. И я, целый месяц...»

Но он не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мутить его сердце ещё в то время, как он только шёл к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выяснилось, что он не знал, куда деться от тоски своей. Он шёл по тротуару как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж. Из дверей, как раз в эту минуту, выходили двое пьяных и, друг друга поддерживая и ругая, взбирались на улицу. Долго не думая, Раскольников тотчас же спустился вниз. Никогда до сих пор не входил он в распивочные, но теперь голова его кружилась, и к тому же палящая жажда томила его. Ему захотелось выпить холодного пива, тем более что внезапную слабость свою он относил и к тому, что был голоден. Он уселся в тёмном и грязном углу, за липким столиком, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан. Тотчас же всё отлегло, и мысли его прояснели. «Всё это вздор, – сказал он с надеждой, – и нечем тут было смущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря – и вот, в один миг, крепнет ум, яснееет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое всё это ничтожество!..» Но, несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени, и дружелюбно окинул глазами присутствующих. Но даже и в эту минуту он отдалённо предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная.

В распивочной на ту пору оставалось мало народу. Кроме тех двух пьяных, что попались на лестнице, вслед за ними же вышла ещё разом целая ватага, человек в пять, с одною девкой и с гармонией. После них стало тихо и просторно. Остались: один хмельной, но немного, сидевший за пивом, с виду мещанин; товарищ его, толстый, огромный, в сибирке⁷ и с седою бородой, очень захмелевший, задремавший на лавке, и изредка, вдруг, как бы спросонья, начинавший прищёлкивать пальцами, расставив руки врозь, и подпрыгивать верхнею частию корпуса, не вставая с лавки, причём подпевал какую-то ерунду, силясь припомнить стихи, вроде:

Целый год жену ласкал,
Цел-лый год же-ну лас-кал...

Или вдруг, проснувшись, опять:

По Подьяческой пошёл,
Свою прежнюю нашёл...

Но никто не разделял его счастья; молчаливый товарищ его смотрел на все эти взрывы даже враждебно и с недоверчивостью. Был тут и ещё один человек, с виду похожий как бы на отставного чиновника. Он сидел особо, перед своею посудинкой, изредка отпивая и посматривая кругом. Он был тоже как будто в некотором волнении.

II

Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нём как

⁷ Сибирка – верхняя одежда в виде короткого кафтана со сборками и стоячим воротником.

бы новое, и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей. Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире, хотя бы в каком бы то ни было, и, несмотря на всю грязь обстановки, он с удовольствием оставался теперь в распивочной.

Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в неё откуда-то по ступенькам, причём прежде всего выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддёвке и в страшно засаленном чёрном атласном жилете, без галстука, а всё лицо его было как будто смазано маслом, точно железный замок. За стойкой находился мальчишка лет четырнадцати, и был другой мальчишка моложе, который подавал, если что спрашивали. Стояли крошеные огурцы, чёрные сухари и резанная кусочками рыба; всё это очень дурно пахло. Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным.

Бывают иные встречи, совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно впечатление произвёл на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Молодой человек несколько раз припоминал потом это первое впечатление и даже приписывал его предчувствию. Он беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому ещё, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. Это был человек лет уже за пятьдесят, среднего роста и плотного сложения, с проседью и с большою лысиной, с отёкшим от постоянного пьянства жёлтым, даже зеленоватым лицом и с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щёлочки, но одушевлённые красноватые глазки. Но что-то было в нём очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, – пожалуй, был и смысл и ум, – но в то же время мелькало как будто и безумие. Одет он был в старый, совершенно оборванный чёрный фрак, с осыпавшимися пуговицами. Одна только ещё держалась кое-как, и на неё-то он и застёгивался, видимо желая не удалаться приличий. Из-под нанкового⁸ жилета торчала манишка⁹, вся скомканная, запачканная и залитая. Лицо было выбрито, по-чиновничьи, но давно уже, так что уже густо начала выступать сизая щетина. Да и в ухватках его действительно было что-то солидно-чиновничье. Но он был в беспокойстве, ерошил волосы и подпирал иногда, в тоске, обеими руками голову, положив продранные локти на залитый и липкий стол. Наконец он прямо посмотрел на Раскольникова и громко и твёрдо проговорил:

– А осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Ибо хотя вы и не в значительном виде, но опытность моя отличает в вас человека образованного и к напитку непривычного. Сам всегда уважал образованность, соединённую с сердечными чувствами, и, кроме того, состою титулярным советником. Мармеладов – такая фамилия; титулярный советник. Осмелюсь узнать: служить изволили?

– Нет, учусь... – отвечал молодой человек, отчасти удивлённый и особенным витиеватым тоном речи, и тем, что так прямо, в упор, обратились к нему. Несмотря на недавнее мгновенное желание хотя какого бы ни было сообщества с людьми, он при первом, действительно обращённом к нему слове вдруг ощутил своё обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только прикоснуться к его личности.

⁸ Нанковая – особая хлопчатобумажная ткань, по имени китайского города Нанкина, где она изготовлялась.

⁹ Манишка – белая накидка поверх мужской сорочки.

– Студент, стало быть, или бывший студент! – вскричал чиновник, – так я и думал! Опыт, милостивый государь, неоднократный опыт! – и в знак похвалы он приложил палец ко лбу. – Были студентом или происходили учёную часть! А позвольте... – Он привстал, покачнулся, захватил свою посудинку, стаканчик, и подсел к молодому человеку, несколько от него наискось.

Он был хмелен, но говорил речисто и бойко, изредка только местами сбиваясь немного и затягивая речь. С какою-то даже жадностью накинута на Раскольникова, точно целый месяц тоже ни с кем не говорил.

– Милостивый государь, – начал он почти с торжественностью, – бедность не порок, это истина. Знаю я, что и пьянство не добродетель, и это тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета – порок-с. В бедности вы ещё сохраняете своё благородство врождённых чувств, в нищете же никогда и никто. За нищету даже и не палкой выгоняют, а метлой выметают из компании человеческой, чтобы тем оскорбительнее было; и справедливо, ибо в нищете я первый сам готов оскорблять себя. И отсюда питейное! Милостивый государь, месяц назад тому супругу мою избил господин Лебезятников, а супруга моя не то что я! Понимаете-с? Позвольте ещё вас спросить, так, хотя бы в виде простого любопытства: изволили вы ночевать на Неве, на сенных барках?

– Нет, не случилось, – отвечал Раскольников. – Это что такое?

– Ну-с, а я оттуда, и уже пятую ночь-с...

Он налил стаканчик, выпил и задумался. Действительно, на его платье и даже в волосах кое-где виднелись прилипшие былинки сена. Очень вероятно было, что он пять дней не раздевался и не умывался. Особенно руки были грязные, жирные, красные, с чёрными ногтями.

Его разговор, казалось, возбудил общее, хотя и ленивое внимание. Мальчишки за стойкой стали хихикать. Хозяин, кажется, нарочно сошёл из верхней комнаты, чтобы послушать «забавника», и сел поодаль, лениво, но важно позёвывая. Очевидно, Мармеладов был здесь давно известен. Да и склонность к витиеватой речи приобрёл, вероятно, вследствие привычки к частным кабачным разговорам с различными незнакомцами. Эта привычка обращается у иных пьющих в потребность, и преимущественно у тех из них, с которыми дома обходятся строго и которыми помыкают. Оттого-то в пьющей компании они и стараются всегда как будто выхлопотать себе оправдание, а если можно, то даже и уважение.

– Забавник! – громко проговорил хозяин. – А для ча не работаешь, для ча не служите, коли чиновник?

– Для чего я не служу, милостивый государь, – подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, – для чего не служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? Когда господин Лебезятников, тому месяц назад, супругу мою собственноручно избил, а я лежал пьяненькой, разве я не страдал? Позвольте, молодой человек, случилось вам... гм... ну хоть испрашивать денег займы безнадёжно?

– Случалось... то есть как безнадёжно?

– То есть безнадёжно вполне-с, заранее зная, что из сего ничего не выйдет. Вот вы знаете, например, заранее и досконально, что сей человек, сей благонамереннейший и наиболее полезный гражданин, ни за что вам денег не даст, ибо зачем, спрошу я, он даст? Ведь он знает же, что я не отдам. Из сострадания? Но господин Лебезятников, следящий за новыми мыслями, объяснял наперед, что сострадание в наше время даже наукой воспрещено и что так уже делается в Англии, где политическая экономия. Зачем же, спрошу я, он даст? И вот, зная вперёд, что не даст, вы всё-таки отправляетесь в путь и...

– Для чего же ходить? – прибавил Раскольников.

– А коли не к кому, коли идти больше некуда! Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо

хоть куда-нибудь да пойти! Когда единокровная дочь моя в первый раз по жёлтому билету¹⁰ пошла, и я тоже тогда пошёл... (ибо дочь моя по жёлтому билету живёт-с...) – прибавил он в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. – Ничего, милостивый государь, ничего! – поспешил он тотчас же, и по-видимому, спокойно, заявить, когда фыркнули оба мальчишки за стойкой и улыбнулся сам хозяин. – Ничего-с! Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем всё известно, и всё тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! пусть! «Се человек!» Позвольте, молодой человек: можете ли вы... Но нет, изъяснить сильнее и изобразительнее: не *можете* ли вы, а *осмелитесь* ли вы, взирая в сей час на меня, сказать утвердительно, что я не свинья?

Молодой человек не отвечал ни слова.

– Ну-с, – продолжал оратор, солидно и даже с усиленным на этот раз достоинством, переждав опять следовавшее в комнате хихикание. – Ну-с, я пусть свинья, а она дама! Я звериный образ имею, а Катерина Ивановна, супруга моя, – особа образованная и урождённая штаб-офицерская дочь. Пусть, пусть я подлец, она же и сердца высокого, и чувств облагороженных воспитанием исполнена. А между тем... о, если б она пожалела меня! Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы и его пожалели! А Катерина Ивановна дама хотя и великодушная, но несправедливая... И хотя я и сам понимаю, что когда она и вихры мои дерёт, то дерёт их не иначе как от жалости сердца (ибо, повторяю без смущения, она дерёт мне вихры, молодой человек, – подтвердил он с сугубым достоинством, услышав опять хихиканье), но, боже, что, если б она хотя один раз... Но нет! нет! Всё сие втуне, и нечего говорить! нечего говорить!.. Ибо и не один уже раз бывало желаемое и не один уже раз жалели меня, но... такова уже черта моя, а я прирождённый скот!

– Ещё бы! – заметил, зевая, хозяин.

Мармеладов решительно стукнул кулаком по столу.

– Такова уж черта моя! Знаете ли, знаете ли вы, государь мой, что я даже чулки её пропил? Не башмаки-с, ибо это хотя сколько-нибудь походило бы на порядок вещей, а чулки, чулки её пропил-с! Косыночку её из козьего пуха тоже пропил, дарёную, прежнюю, её собственную, не мою; а живём мы в холодном угле, и она в эту зиму простудилась и кашлять пошла, уже кровью. Детей же маленьких у нас трое, и Катерина Ивановна в работе с утра до ночи, скребёт и моет и детей обмывает, ибо к чистоте с измалетства привыкла, а с грудью слабою и к чахотке наклонною, и я это чувствую. Разве я не чувствую? И чем более пью, тем более и чувствую. Для того и пью, что в питии сём сострадания и чувства ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу! – и он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

– Молодой человек, – продолжал он, восклоняясь опять, – в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочёл её, а потому тотчас же и обратился к вам. Ибо, сообщая вам историю жизни моей, не на позорище себя выставить хочу перед сими празднующими, которым и без того всё известно, а чувствительного и образованного человека ищу. Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальный лист получила. Медаль... ну медаль-то продали... уж давно... гм... похвальный лист до сих пор у ней в сундуке лежит, и ещё недавно его хозяйке показывала. И хотя с хозяйкой у ней наибеспрерывнейшие раздоры, но хоть перед кем-нибудь погордиться захотелось и сообщить о счастливых минувших днях. И я не осуждаю, не осуждаю, ибо сие последнее у ней и осталось в воспоминаниях её, а прочее всё пошло прахом! Да, да; дама горячая, гордая и непреклонная. Пол сама моет и на чёрном хлебе сидит, а неуважения к себе не допустит. Оттого и господину Лебезятникову грубость его не захотела спустить, и когда прибил её за то

¹⁰ Жёлтый билет – специальный документ с результатами медицинских заключений, дававший право на работу, который проститутки получали в полиции.

господин Лебезятников, то не столько от побоев, сколько от чувства в постель слегла. Вдовой уже взял её, с троими детьми, мал мала меньше. Вышла замуж за первого мужа, за офицера пехотного, по любви, и с ним бежала из дому родительского. Мужа любила чрезмерно, но в картишки пустился, под суд попал, с тем и помер. Бивал он её под конец; а она хоть и не спускала ему, о чём мне доподлинно и по документам известно, но до сих пор вспоминает его со слезами и меня им корит, и я рад, я рад, ибо хотя в воображениях своих зрит себя когда-то счастливой... И осталась она после него с тремя малолетними детьми в уезде далёком и зверском, где и я тогда находился, и осталась в такой нищете безнадёжной, что я хотя и много видал приключений различных, но даже и описать не в состоянии. Родные же все отказались. Да и горда была, чересчур горда... И тогда-то, милостивый государь, тогда я, тоже вдовец, и от первой жены четырнадцатилетнюю дочь имея, руку свою предложил, ибо не мог смотреть на такое страдание. Можете судить потому, до какой степени её бедствия доходили, что она, образованная и воспитанная и фамилии известной, за меня согласилась пойти! Но пошла! Плача и рыдая, и руки ломая – пошла! Ибо некуда было идти. Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? Нет! Этого вы ещё не понимаете... И целый год я обязанность свою исполнял благочестиво и свято и не касался сего (он ткнул пальцем на полуштоф¹¹), ибо чувство имею. Но и сим не мог угодить; а тут места лишился, и тоже не по вине, а по изменению в штатах, и тогда прикоснулся!.. Полтора года уже будет назад, как очутились мы, наконец, после странствий и многочисленных бедствий, в сей великолепной и украшенной многочисленными памятниками столице. И здесь я место достал... Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила... Проживаем же теперь в угле, у хозяйки Амалии Фёдоровны Липпехель, а чем живём и чем платим, не ведаю. Живут же там многие и кроме нас... Содом-с, безобразнейший... гм... да... А тем временем возросла и дочка моя, от первого брака, и что только вытерпела она, дочка моя, от мачехи своей, возрастая, о том я умалчиваю. Ибо хотя Катерина Ивановна и преисполнена великодушных чувств, но дама горячая и раздражённая, и оборвёт... Да-с! Ну, да нечего вспоминать о том! Воспитания, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную историю проходить; но как я сам был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо какие имевшиеся книжки... гм!.. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось всё обучение. На Кире Персидском остановились. Потом, уже достигнув зрелого возраста, прочла она несколько книг содержания романтического, да недавно ещё, через посредство господина Лебезятникова, одну книжку «Физиологию» Льюиса¹² – изволите знать-с? – с большим интересом прочла и даже нам отрывочно вслух сообщала: вот и всё её просвещение. Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, бедная, но честная девица честным трудом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! Да и то статский советник Клопшток, Иван Иванович, – изволили слышать? – не только денег за шитьё полдюжины голландских рубашек до сих пор не отдал, но даже с обидой погнав её, затопав ногами и обозвав неприлично, под видом, будто бы рубашечный ворот сшит не по мерке и косяком. А тут ребятишки голодные... А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на щеках выступают, – что в болезни этой и всегда бывает: «Живёшь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьёшь, и теплом пользуешься», а что тут пьёшь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! Лежал я тогда... ну, да уж что! лежал пьяненькой-с, и слышу, говорит моя Соня (безответная она, и голосок у ней такой кроткий... белокуренькая,

¹¹ Полуштоф – сосуд для напитков.

¹² «Физиология» Льюиса – книга английского философа и физиолога Д. Г. Льюиса «Физиология обыденной жизни», в которой популярно излагались естественно-научные идеи.

личико всегда бледненькое, худенькое), говорит: «Что ж, Катерина Ивановна, неужели же мне на такое дело пойти?» А уж Дарья Францевна, женщина злонамеренная и полиции многократно известная, раза три через хозяйку наведывалась. «А что ж, – отвечает Катерина Ивановна, в пересмешку, – чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не в здравом рассудке сие сказано было, а при взволнованных чувствах, в болезни и при плаче детей не евших, да и сказано более ради оскорбления, чем в точном смысле... Ибо Катерина Ивановна такого уж характера, и как расплачутся дети, хоть бы и с голоду, тотчас же их бить начинает. И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик¹³ и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш большой драдедамовый¹⁴ зелёный платок (общий такой у нас платок есть, драдедамовый), накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке, только плечики да тело всё вздрагивают... А я, как и давеча, в том же виде лежал-с... И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, так же ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе, обнявшись... обе... обе... да-с... А я... лежал пьяненькой-с.

Мармеладов замолчал, как будто голос у него пресёкся. Потом вдруг поспешно налил, выпил и крякнул.

– С тех пор, государь мой, – продолжал он после некоторого молчания, – с тех пор, по одному неблагоприятному случаю и по донесению неблагонамеренных лиц, – чему особенно способствовала Дарья Францевна, за то будто бы, что ей в надлежащем почтении манкировали, – с тех пор дочь моя, Софья Семёновна, жёлтый билет принуждена была получить, и уже вместе с нами по случаю сему не могла оставаться. Ибо и хозяйка, Амалия Фёдоровна, того допустить не хотела (а сама же прежде Дарье Францевне способствовала), да и господин Лебезятников... гм... Вот за Соню-то и вышла у него эта история с Катериной Ивановной. Сначала сам добивался от Сонечки, а тут и в амбицию вдруг вошли: «Как, дескать, я, такой просвещённый человек, в одной квартире с таковскою буду жить?» А Катерина Ивановна не спустила, вступилась... ну и произошло... И заходит к нам Сонечка теперь более в сумерки, и Катерину Ивановну облегчает, и средства посильные доставляет... Живёт же на квартире у портного Капернаумова, квартиру у них снимает, а Капернаумов хром и косноязычен, и всё многочисленнейшее семейство его тоже косноязычное. И жена его тоже косноязычная... в одной комнате помещаются, а Соня свою имеет особую, с перегородкой... Гм, да... Люди беднейшие и косноязычные... да... Только встал я тогда по утру-с, одел лохмотья мои, воздел руки к небу и отправился к его превосходительству Ивану Афанасьевичу. Его превосходительство Ивана Афанасьевича изволите знать?.. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это – воск... воск перед лицом господним; яко тает воск!.. Даже прослезилась, изволив всё выслушать. «Ну, говорит, Мармеладов, раз уже ты обманул мои ожидания... Беру тебя ещё раз на личную свою ответственность, – так и сказали, – помни, дескать, ступай!» Облобызал я прах ног его, мысленно, ибо взаправду не дозволили бы, бывши сановником и человеком новых государственных и образованных мыслей; воротился домой, и как объявил, что на службу опять зачислен и жалованье получаю, господи, что тогда было...

Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский надтреснутый семилетний голосок, певший «Хуторок»¹⁵. Стало шумно. Хозяин и прислуга

¹³ Бурнус – верхняя одежда в виде накидки.

¹⁴ Драдедам – тонкое (дамское) сукно.

¹⁵ «Хуторок» – популярная в середине XIX в. песня Е. Климовского на слова А. В. Кольцова (1809–1842).

занялись вошедшими. Мармеладов, не обращая внимания на вошедших, стал продолжать рассказ. Он, казалось, уже сильно ослаб, но чем более хмелел, тем становился словоохотнее. Воспоминания о недавнем успехе по службе как бы оживили его и даже отразились на лице его каким-то сиянием. Раскольников слушал внимательно.

– Было же это, государь мой, назад пять недель. Да... Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, господа, точно я в царствие божие переселился. Бывало, лежи, как скот, только брань! А ныне: на цыпочках ходят, детей унимают: «Семён Захарыч на службе устал, отдыхает, тш!» Кофею меня перед службой поят, сливки кипятят! Сливков настоящих доставать начали, слышите! И откуда они сколотились мне на обмундировку приличную, одиннадцать рублей пятьдесят копеек, не понимаю? Сапоги, манишки коленкоровые – великолепнейшие, вицмундир, всё за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем виде-с. Пришёл я в первый день поутру со службы, смотрю: Катерина Ивановна два блюда сготовила, суп и солонину под хреном, о чём и понятия до сих пор не имелось. Платьев-то нет у ней никаких... то есть никаких-с, а тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так, из ничего всё сделать сумеют: причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, наруканнички, ан совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя, только деньгами способствовала, а самой, говорит, мне теперь, до времени, у вас часто бывать неприлично, так разве в сумерки, чтобы никто не видал. Слышите, слышите? Пришёл я после обеда заснуть, так что ж бы вы думали, ведь не вытерпела Катерина Ивановна: за неделю ещё с хозяйкой, с Амалией Фёдоровной, последним образом перессорились, а тут на чашку кофею позвала. Два часа просидели и всё шептались: «Дескать, как теперь Семён Захарыч на службе и жалованье получает, и к его превосходительству сам являлся, и его превосходительство сам вышел, всем ждать велел, а Семёна Захарыча мимо всех за руку в кабинет провёл». Слышите, слышите? «Я, конечно, говорит, Семён Захарыч, помня ваши заслуги, и хотя вы и придерживались этой легкомысленной слабости, но как уж вы теперь обещаетесь, и что сверх того без вас у нас худо пошло (слышите, слышите!), то и надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово», то есть всё это, я вам скажу, взяла да и выдумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственными воображениями сама себя тешит, ей-богу-с! И я не осуждаю; нет, этого я не осуждаю!.. Когда же, шесть дней назад, я первое жалованье моё – двадцать три рубля сорок копеек – сполна принёс, малявочкой меня назвала: «Малявочка, говорит, ты эдакая!» И наедине-с, понимаете ли? Ну, уж что, кажется, во мне за краса и какой я супруг? Нет, ущипнула за щёку. «Малявочка ты эдакая!» – говорит.

Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться, но вдруг подбородок его запрыгал. Он, впрочем, удержался. Этот кабак, развращённый вид, пять ночей на сенных барках и штоф, а вместе с тем эта болезненная любовь к жене и семье сбивали его слушателя с толку. Раскольников слушал напряжённо, но с ощущением болезненным. Он досадовал, что зашёл сюда.

– Милостивый государь, милостивый государь! – воскликнул Мармеладов, оправившись, – о государь мой, вам, может быть, всё это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостию всех этих мизерных подробностей домашней жизни моей, ну а мне не в смех! Ибо я всё это могу чувствовать... И в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих препровождал: и то есть как я это всё устрою, и ребятишек одену, и ей покой дам, и дочь мою однородную от бесчестья в лоно семьи возвращу... И многое, многое... Позволительно, сударь. Ну-с, государь ты мой (Мармеладов вдруг как будто вздрогнул, поднял голову и в упор посмотрел на своего слушателя), ну-с, а на другой же день, после всех сих мечтаний (то есть это будет ровно пять суток назад тому), к вечеру, я хитрым обманом, как тать в ночи¹⁶, похитил у Катерины Ивановны от сундука её ключ, вынул что осталось из принесённого жалованья, сколько всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня,

¹⁶ Тать в ночи – вор в ночи (устар.).

все! Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние... И всему конец!

Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко опёрся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством взглянул на Раскольникову, засмеялся и проговорил:

– А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить! Хе, хе, хе!

– Неужели дала? – крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку.

– Вот этот самый полуштоф-с на её деньги и куплен, – произнёс Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. – Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, всё, что было, сам видел... Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела... Так не на земле, а там... О людях тоскуют, плачут, а не укоряют, не укоряют! А это больней-с, больней-с, когда не укоряют!.. Тридцать копеек, да-с. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота, особая-то, понимаете? Понимаете? Ну, там помадки тоже купить, ведь нельзя же-с; юбки крахмальные, ботиночку эдакую, пофиглярнее, чтобы ножку выставить, когда лужу придётся переходить. Понимаете ли, понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, а я вот, кровный-то отец, тридцать-то эти копеек и стащил себе на похмелье! И пью-с! И уж пропил-с!.. Ну, кто же такого, как я, пожалеет? Ась? Жаль вам теперь меня, сударь, аль нет? Говори, сударь, жаль али нет? Хе, хе, хе, хе!

Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштоф был пустой.

– Да чего тебя жалеть-то? – крикнул хозяин, очутившийся опять подле них.

Раздался смех и даже ругательства. Смеялись и ругались слушавшие и не слушавшие, так, глядя только на одну фигуру отставного чиновника.

– Жалеть! зачем меня жалеть! – вдруг возопил Мармеладов, вставая с протянутой вперёд рукой, в решительном вдохновении, как будто только и ждал этих слов. – Зачем жалеть, говоришь ты? Да! меня жалеть не за что! Меня распять надо, распять на кресте, а не жалеть! Но распни, судия, распни и, распяв, пожалей его! И тогда я сам к тебе пойду на пропятие, ибо не веселья жажду, а скорби и слёз!.. Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошёл? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слёз, и вкусил и обрёл; а пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и судия. Приидет в тот день и спросит: «А где дочь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дочь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?» И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...» и простит мою Соню, простит, я уж знаю, что простит... Я это давеча, как у ней был, в моём сердце почувствовал!.. И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлещи?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострёт к нам руке свои, и мы припадём... И заплачем... И всё поймём! Тогда всё поймём!.. И все поймут... И Катерина Ивановна... И она поймёт... Господи, да приидет царствие твое!

И он опустился на лавку, истощённый и обессиленный, ни на кого не смотря, как бы забыв окружающее и глубоко задумавшись. Слова его произвели некоторое впечатление; на минуту воцарилось молчание, но вскоре раздался прежний смех и ругательства:

– Рассудил!

– Заврался!

– Чиновник!

И проч., и проч.

– Пойдёмте, сударь, – сказал вдруг Мармеладов, поднимая голову и обращаясь к Раскольникову, – доведите меня... Дом Козеля, на дворе. Пора... к Катерине Ивановне...

Раскольникову давно уже хотелось уйти; помочь же ему он и сам думал. Мармеладов оказался гораздо слабее ногами, чем в речах, и крепко опёрся на молодого человека. Идти было шагов двести-триста. Смущение и страх всё более и более овладевали пьяницей по мере приближения к дому.

– Я не Катерины Ивановны теперь боюсь, – бормотал он в волнении, – и не того, что она мне волосы драть начнёт. Что волосы!.. Вздор волосы! Это я говорю! Оно даже и лучше, коли драть начнёт, а я не того боюсь... я... глаз её боюсь... да... глаз... Красных пятен на щеках тоже боюсь... И ещё – её дыхания боюсь... Видал ты, как в этой болезни дышат... при взволнованных чувствах? Детского плача тоже боюсь... Потому как если Соня не накормила, то... уж не знаю что! не знаю! А побоев не боюсь... Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, но и в наслаждение бывают... Ибо без сего я и сам не могу обойтись. Оно лучше. Пусть побьёт, душу отведёт... оно лучше... А вот и дом. Козеля дом. Слесаря, немца, богатого... води!

Они вошли со двора и прошли в четвёртый этаж. Лестница чем дальше, тем становилась темнее. Было уже почти одиннадцать часов, и хотя в эту пору в Петербурге нет настоящей ночи, но на верху лестницы было очень темно.

Маленькая закоптелая дверь в конце лестницы, на самом верху, была отворена. Огарок освещал беднейшую комнату шагов в десять длиной; всю её было видно из сеней. Всё было разбросано и в беспорядке, в особенности разное детское тряпье. Через задний угол была протянута дырявая простыня. За нею, вероятно, помещалась кровать. В самой же комнате было всего только два стула и клеёнчатый очень ободранный диван, перед которым стоял старый кухонный сосновый стол, некрашенный и ничем не покрытый. На краю стола стоял догоравший сальный огарок в железном подсвечнике. Выходило, что Мармеладов помещался в особой комнате, а не в углу, но комната его была проходная. Дверь в дальнейшие помещения, или клетки, на которые разбивалась квартира Амалии Липпехель, была приотворена. Там было шумно и криливо. Хохотали. Кажется, играли в карты и пили чай. Вылетали иногда слова самые нецеремонные.

Раскольников тотчас признал Катерину Ивановну. Это была ужасно похудевшая женщина, тонкая, довольно высокая и стройная, ещё с прекрасными тёмно-русыми волосами и действительно с раскрасневшимися до пятен щеками. Она ходила взад и вперёд по своей небольшой комнате, сжав руки на груди, с запёкшимися губами и неровно, прерывисто дышала. Глаза её блеснули как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен, и болезненное впечатление производило это чахоточное и взволнованное лицо при последнем освещении догоравшего огарка, трепетавшем на лице её. Раскольникову она показалась лет тридцати, и действительно была не пара Мармеладову... Входящих она не слыхала и не заметила; казалось, она была в каком-то забытии, не слушала и не видела. В комнате было душно, но окна она не отворила; с лестницы несло воню, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних помещений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. Самая маленькая девочка, лет шести, спала на полу, как-то сидя, скорчившись и уткнув голову в диван. Мальчик, годом старше её, весь дрожал в углу и плакал. Его, вероятно, только что прибили. Старшая девочка, лет девяти, высокенькая и тоненькая как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и в накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен, стояла в углу подле маленького брата, обхватив его шею своею длинною, высохшею как спичка рукой. Она, кажется, унимала его, что-то шептала ему, всячески сдер-

живала, чтоб он как-нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими тёмными глазами, которые казались ещё больше на её исхудавшем и испуганном личике. Мармеладов, не входя в комнату, стал в самых дверях на коленки, а Раскольников протолкнул вперёд. Женщина, увидев незнакомого, рассеянно остановилась перед ним, на мгновение очнувшись и как бы соображая: зачем это он вошёл? Но, верно, ей тотчас же представилось, что он идёт в другие комнаты, так как ихняя была проходная. Сообразив это и не обращая уже более на него внимания, она пошла к сенным дверям, чтобы притворить их, и вдруг вскрикнула, увидев на самом пороге стоящего на коленках мужа.

– А! – закричала она в иступлении, – воротился! Колодник¹⁷! Изверг!.. А где деньги? Что у тебя в кармане, показывай! И платье не то! Где твоё платье? где деньги? говори!..

И она бросилась его обыскивать. Мармеладов тотчас же послушно и покорно развёл руки в обе стороны, чтобы тем облегчить карманный обыск. Денег не было ни копейки.

– Где же деньги? – кричала она. – О господи, неужели же он всё пропил! Ведь двенадцать целковых в сундуке оставалось!.. – и вдруг, в бешенстве, она схватила его за волосы и потащила в комнату. Мармеладов сам облегчал её усилия, смиренно ползя за нею на коленках.

– И это мне в наслаждение! И это мне не в боль, а в наслаждение, ми-ло-сти-вый го-сударь, – выкрикивал он, потрясаясь за волосы и даже раз стукнувшись лбом об пол. Спавший на полу ребёнок проснулся и заплакал. Мальчик в углу не выдержал, задрожал, закричал и бросился к сестре в страшном испуге, почти в припадке. Старшая девочка дрожала со сна, как лист.

– Пропил! Всё, всё пропил! – кричала в отчаянии бедная женщина, – и платье не то! Голодные, голодные! (и, ломая руки, она указывала на детей). О, треклятая жизнь! А вам, вам не стыдно, – вдруг набросилась она на Раскольникова, – из кабака! Ты с ним пил? Ты тоже с ним пил! Вон!

Молодой человек поспешил уйти, не говоря ни слова. К тому же внутренняя дверь отворилась настежь, и из неё выглянуло несколько любопытных. Протягивались наглые смеющиеся головы с папиросками и трубками, в ермолках. Виднелись фигуры в халатах и совершенно нараспашку, в летних до неприличия костюмах, иные с картами в руках. Особенно потешно смеялись они, когда Мармеладов, таскаемый за волосы, кричал, что это ему в наслаждение. Стали даже входить в комнату; слышался, наконец, зловеющий визг: это продиралась вперёд сама Амалия Липпехель, чтобы произвести распоряжок по-свойски и в сотый раз испугать бедную женщину ругательским приказанием завтра же очистить квартиру. Уходя, Раскольников успел просунуть руку в карман, загрёб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с разменянного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом уже на лестнице он одумался и хотел было воротиться.

«Ну что это за вздор такой я сделал, – подумал он, – тут у них Соня есть, а мне самому надо». Но, рассудив, что взять назад уже невозможно и что всё-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошёл на свою квартиру. «Соне помадки ведь тоже нужно, – продолжал он, шагая по улице, и язвительно усмехнулся, – денег стоит сия чистота... Гм! А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама обанкрутится, потому тот же риск, охота по красному зверю... золотопромышленность... вот они все, стало быть, и на бобах завтра без моих-то денег... Ай да Соня! Какой колодезь, однако ж, сумели выкопать! И пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец человек привыкает!»

Он задумался.

– Ну, а коли я соврал, – воскликнул он вдруг невольно, – коли действительно не *подлец* человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное всё – предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..

¹⁷ Колодник – каторжник.

III

Он проснулся на другой день уже поздно, после тревожного сна, но сон не подкрепил его. Проснулся он желчный, раздражительный, злой и с ненавистью посмотрел на свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид с своими жёлтенькими, пыльными и всюду отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было три старых стула, не совсем исправных, крашенный стол в углу, на котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука; и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в лохмотьях, и служившая постелью Раскольникову. Часто он спал на ней так, как был, не раздеваясь, без простыни, покрываясь своим старым, ветхим студенческим пальто и с одною маленькою подушкой в головах, под которую подкладывал всё, что имел белья, чистого и заношенного, чтобы было повыше изголовье. Перед софой стоял маленький столик.

Трудно было более опуститься и обнеряшиться; но Раскольникову это было даже приятно в его теперешнем состоянии духа. Он решительно ушёл от всех, как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нём желчь и конвульсии. Так бывает у иных мономанов¹⁸, слишком на чём-нибудь сосредоточившихся. Квартирная хозяйка его две недели как уже перестала ему отпускать кушанье, и он не подумал ещё до сих пор сходить объясниться с нею, хотя и сидел без обеда. Настасья, кухарка и единственная служанка хозяйкина, отчасти была рада такому настроению жильца и совсем перестала у него убирать и мести, так только в неделю раз, нечаянно, бралась иногда за веник. Она же и разбудила его теперь.

– Вставай, чего спишь! – закричала она над ним, – десятый час. Я тебе чай принесла: хошь чайку-то? Поди отошл!

Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью.

– Чай-то от хозяйки, что ль? – спросил он, медленно и с болезненным видом приподнимаясь на софе.

– Како от хозяйки!

Она поставила перед ним свой собственный надтреснутый чайник, с спитым уже чаем, и положила два жёлтых кусочка сахару.

– Вот, Настасья, возьми, пожалуйста, – сказал он, пошарив в кармане (он так и спал одетый) и вытащив горсточку меди, – сходи и купи мне сайку. Да возьми в колбасной хоть колбасы немного, подешевле.

– Сайку я тебе сею минутою принесу, а не хошь ли вместо колбасы-то щей? Хорошие щи, вчерашние. Ещё вчера тебе оставила, да ты пришёл поздно. Хорошие щи.

Когда щи были принесены и он принялся за них, Настасья уселась подле него на софе и стала болтать. Она была из деревенских баб и очень болтливая баба.

– Прасковья-то Павловна в полицу на тебя хочет жалиться, – сказала она.

Он крепко поморщился.

– В полицию? Что ей надо?

– Денег не платишь и с фатеры¹⁹ не сходишь. Известно, что надо.

¹⁸ Мономан – человек с психическим расстройством, который одержим какой-то идеей.

¹⁹ Фатера – квартира (искаж.).

– Э, чёрта ещё этого не доставало, – бормотал он, скрыпя зубами, – нет, это мне теперь... некстати... Дура она, – прибавил он громко. – Я сегодня к ней зайду, поговорю.

– Дура-то она дура, такая же, как и я, а ты что, умник, лежишь, как мешок, ничего от тебя не видать? Прежде, говоришь, детей учить ходил, а теперь пошто ничего не делаешь?

– Я делаю... – нехотя и сурово проговорил Раскольников.

– Что делаешь?

– Работу...

– Каку работу?

– Думаю, – серьёзно отвечал он, помолчав.

Настасья так и покатила со смеху. Она была из смешливых и когда рассмешат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, что самой тошно уж становилось.

– Денег-то много, что ль, надумал? – смогла она наконец выговорить.

– Без сапог нельзя детей учить. Да и наплевать.

– А ты в колодезь не плюй.

– За детей медью платят. Что на копейки сделаешь! – продолжал он с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям.

– А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на неё.

– Да, весь капитал, – твёрдо отвечал он, помолчав.

– Ну, ты помаленьку, а то испугаешь; страшно уж очинна. За сайкой-то ходить али нет?

– Как хочешь.

– Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.

– Письмо! Ко мне! От кого?

– От кого, не знаю. Три копейки почтальону своих отдала. Отдашь, что ли?

– Так неси же, ради бога, неси! – закричал весь в волнении Раскольников, – господа!

Через минуту явилось письмо. Так и есть: от матери, из Р-й губернии. Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем; но теперь и ещё что-то другое вдруг сжало ему сердце.

– Настасья, уйди, ради бога; вот твои три копейки, только, ради бога, скорее уйди!

Письмо дрожало в руках его; он не хотел распечатывать при ней: ему хотелось остаться наедине с этим письмом. Когда Настасья вышла, он быстро поднёс его к губам и поцеловал; потом долго ещё вглядывался в почерк адреса, в знакомый и милый ему мелкий и косенький почерк его матери, учившей его когда-то читать и писать. Он медлил; он даже как будто боялся чего-то. Наконец распечатал: письмо было большое, плотное, в два лота²⁰; два большие почтовые листа были мелко-намелко исписаны.

«Милый мой Родя, – писала мать, – вот уже два месяца с лишком, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала и даже иную ночь не спала, думая. Но, наверно, ты не обвинишь меня в этом невольном моём молчании. Ты знаешь, как я люблю тебя: ты один у нас, у меня и у Дуни, ты наше всё, вся надежда, упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты уже несколько месяцев оставил университет, за неимением чем содержать себя, и что уроки и прочие средства твои прекратились! Чем могла я с моими ста двадцатью рублями в год пенсионом помочь тебе? Пятнадцать рублей, которые я послала тебе четыре месяца назад, я занимала, как ты и сам знаешь, в счёт этого же пенсионного, у здешнего нашего купца Афанасия Ивановича Вахрушина. Он добрый человек и был ещё приятелем твоего отца. Но, дав ему право на получение за меня пенсионного, я должна была ждать, пока выплатится долг, а это только что теперь исполнилось, так что я ничего не могла во всё это время послать тебе. Но теперь, слава богу, я, кажется, могу тебе ещё выслать, да и вообще мы можем теперь даже

²⁰ Лот – русская мера веса (12,797 г), применявшаяся до введения метрической системы мер.

похвалиться фортуной, о чём и спешу сообщить тебе. И, во-первых, угадываешь ли ты, милый Родя, что сестра твоя вот уже полтора месяца как живёт со мною, и мы уже больше не разлучимся и впредь. Слава тебе господи, кончились её истязания, но расскажу тебе всё по порядку, чтобы ты узнал, как всё было и что мы от тебя до сих пор скрывали. Когда ты писал мне, тому назад два месяца, что слышал от кого-то, будто Дуня терпит много от грубости в доме господ Свидригайловых, и спрашивал от меня точных объяснений, – что могла я тогда написать тебе в ответ? Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы, всё бросил и хоть пешком, а пришёл бы к нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. Я же сама была в отчаянии, но что было делать? Я и сама-то всей правды тогда не знала. Главное же затруднение состояло в том, что Дунечка, вступив прошлого года в их дом гувернанткой, взяла вперёд целых сто рублей под условием ежемесячного вычета из жалованья, и, стало быть, и нельзя было место оставить, не расплатившись с долгом. Сумму же эту (теперь могу тебе всё объяснить, бесценный Родя) взяла она более для того, чтобы выслать тебе шестьдесят рублей, в которых ты тогда так нуждался и которые ты и получил от нас в прошлом году. Мы тебя тогда обманули, написали, что это из скоплённых Дунечкиных прежних денег, но это было не так, а теперь сообщаю тебе всю правду, потому что всё теперь переменялось внезапно, по воле божией, к лучшему, и чтобы ты знал, как любит тебя Дуня и какое у неё бесценное сердце. Действительно, господин Свидригайлов сначала обходился с ней очень грубо и делал ей разные неучтивости и насмешки за столом... Но не хочу пускаться во все эти тяжёлые подробности, чтобы не волновать тебя напрасно, когда уж всё теперь кончено. Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы Петровны, супруги г-на Свидригайлова, и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда г-н Свидригайлов находился, по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса. Но что же оказалось впоследствии? Представь себе, что этот сумасброд давно уже возымел к Дуне страсть, но всё скрывал это под видом грубости и презрения к ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. А может быть, и то, что он грубостию своего обращения и насмешками хотел только прикрыть от других всю истину. Но наконец не удержался и осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того бросить всё и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй, за границу. Можешь представить себе все её страдания! Оставить сейчас место было нельзя, не только по причине денежного долга, но и щадя Марфу Петровну, которая могла бы вдруг возыметь подозрения, а следовательно, и пришлось бы поселить в семействе раздор. Да и для Дунечки был бы большой скандал; уж так не обошлось бы. Были тут и многие разные причины, так что раньше шести недель Дуня никак не могла рассчитывать вырваться из этого ужасного дома. Конечно, ты знаешь Дуню, знаешь, как она умна и с каким твёрдым характером. Дунечка многое может сносить и даже в самых крайних случаях найти в себе столько великодушия, чтобы не потерять своей твёрдости. Она даже мне не написала обо всём, чтобы не расстроить меня, а мы часто пересылались вестями. Развязка же наступила неожиданная. Марфа Петровна нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дунечку в саду, и, поняв всё превратно, во всём её же и обвинила, думая, что она-то всему и причиной. Произошла у них тут же в саду ужасная сцена: Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город на простой крестьянской телеге, в которую сбросили все её вещи, бельё, платья, всё как случилось, неувязанное и неуложенное. А тут поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорблённая и опозоренная, должна была проехать с мужиком целых семнадцать вёрст в некрытой телеге. Подумай теперь, что могла я тебе написать в письме, в ответ на твоё, полученное мною два месяца назад, и о чём писать? Сама я была в отчаянии; правду написать тебе не смела, потому что ты очень бы был несчастлив, огорчён и возмущён, да и что мог бы ты сделать? Пожалуй, ещё себя погубить, да и Дунечка запрещала; а наполнять письмо пустяками и о чём-нибудь,

тогда как в душе такое горе, я не могла. Целый месяц у нас по всему городу ходили сплетни об этой истории, и до того уж дошло, что нам даже в церковь нельзя было ходить с Дуней от презрительных взглядов и шептаний, и даже вслух при нас были разговоры. Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже кланяться, и я наверно узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низкое оскорбление, вымазав дёгтем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех домах. Она у нас со всеми знакома и в этот месяц поминутно приезжала в город, и так как она немного болтлива и любит рассказывать про свои семейные дела и особенно жаловаться на своего мужа всем и каждому, что очень нехорошо, то и разнесла всю историю в короткое время не только в городе, но и по уезду. Я заболела, Дунечка же была твёрже меня, и если бы ты видел, как она всё переносила и меня же утешала и ободряла! Она ангел! Но, по милосердию божию, наши муки были сокращены: господин Свидригайлов одумался и раскаялся и, вероятно, пожалев Дуню, представил Марфе Петровне полные и очевидные доказательства всей Дунечиной невинности, а именно: письмо, которое Дуня ещё до тех пор, когда Марфа Петровна застала их в саду, принуждена была написать и передать ему, чтоб отклонить личные объяснения и тайные свидания, на которых он настаивал, и которое, по отъезде Дунечки, осталось в руках г-на Свидригайлова. В этом письме она самым пылким образом и с полным негодованием укоряла его именно за неблагородство поведения его относительно Марфы Петровны, поставляла ему на вид, что он отец и семьянин и что, наконец, как гнусно с его стороны мучить и делать несчастною и без того уже несчастную и беззащитную девушку. Одним словом, милый Родя, письмо это так благородно и трогательно написано, что я рыдала, читая его, и до сих пор не могу его читать без слёз. Кроме того, в оправдание Дуни явились, наконец, и свидетельства слуг, которые видели и знали гораздо больше, чем предполагал сам г-н Свидригайлов, как это и всегда водится. Марфа Петровна была совершенно поражена и «вновь убита», как сама она нам признавалась, но зато вполне убедилась в невинности Дунечиной и на другой же день, в воскресенье, приехав прямо в собор, на коленях и со слезами молила владычицу дать ей силу перенести это новое испытание и исполнить долг свой. Затем, прямо из собора, ни к кому не заезжая, приехала к нам, рассказала нам всё, горько плакала и, в полном раскаянии, обнимала и умоляла Дуню простить её. В то же утро, нисколько не мешкая, прямо от нас, отправилась по всем домам в городе и везде, в самых лестных для Дунечки выражениях, проливая слёзы, восстановила её невинность и благородство её чувств и поведения. Мало того, всем показывала и читала вслух собственноручное письмо Дунечиного к г-ну Свидригайлову и даже давала снимать с него копии (что, мне кажется, уже и лишнее). Таким образом, ей пришлось несколько дней сряду объезжать всех в городе, так как иные стали обижаться, что другим оказано было предпочтение, и, таким образом, завелись очереди, так что в каждом доме уже ждали заранее и все знали, что в такой-то день Марфа Петровна будет там-то читать это письмо, и на каждое чтение опять-таки собирались даже и те, которые письмо уже несколько раз прослушали и у себя в домах, и у других знакомых, по очереди. Моё мнение, что многое, очень многое, тут было лишнее; но Марфа Петровна уже такого характера. По крайней мере, она вполне восстановила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела легла неизгладимым позором на её мужа, как на главного виновника, так что мне его даже и жаль; слишком уже строго поступили с этим сумасбродом. Дуню тотчас же стали приглашать давать уроки в некоторых домах, но она отказалась. Вообще же все стали к ней вдруг относиться с особенным уважением. Всё это способствовало главным образом и тому неожиданному случаю, через который теперь меняется, можно сказать, вся судьба наша. Узнай, милый Родя, что к Дуне посватался жених и что она успела уже дать своё согласие, о чём и спешу уведомить тебя поскорее. И хотя дело это сделалось и без твоего совета, но ты, вероятно, не будешь ни на меня, ни на сестру в претензии, так как сам увидишь, из дела же, что ждать и откладывать до получения твоего ответа было

бы нам невозможно. Да и сам ты не мог бы заочно обсудить всего в точности. Случилось же так. Он уже надворный советник, Пётр Петрович Лужин, и дальний родственник Марфы Петровны, которая многому в этом способствовала. Начал с того, что через неё изъявил желание с нами познакомиться, был как следует принят, пил кофе, а на другой же день прислал письмо, в котором весьма вежливо изъяснил своё предложение и просил скорого и решительного ответа. Человек он деловой и занятый и спешит теперь в Петербург, так что дорожит каждой минутой. Разумеется, мы сначала были очень поражены, так как всё это произошло слишком скоро и неожиданно. Соображали и раздумывали мы вместе весь тот день. Человек он благонадёжный и обеспеченный, служит в двух местах и уже имеет свой капитал. Правда, ему уже сорок пять лет, но он довольно приятной наружности и ещё может нравиться женщинам, да и вообще человек он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомерный. Но это, может быть, только так кажется, с первого взгляда. Да и предупреждаю тебя, милый Родя, как увидишься с ним в Петербурге, что произойдёт в очень скором времени, то не суди слишком быстро и пылко, как это и свойственно тебе, если на первый взгляд тебе что-нибудь в нём не покажется. Говорю это на случай, хотя и уверена, что он произведёт на тебя впечатление приятное. Да и, кроме того, чтоб обознать какого бы то ни было человека, нужно относиться к нему постепенно и осторожно, чтобы не впасть в ошибку и предубеждение, которые весьма трудно после исправить и загладить. А Пётр Петрович, по крайней мере по многим признакам, человек весьма почтенный. В первый же свой визит он объявил нам, что он человек положительный, но во многом разделяет, как он сам выразился, «убеждения новейших поколений наших» и враг всех предрассудков. Многое и ещё он говорил, потому что несколько как бы тщеславен и очень любит, чтоб его слушали, но ведь это почти не порок. Я, разумеется, мало поняла, но Дуня объяснила мне, что он человек хотя и небольшого образования, но умный и, кажется, добрый. Ты знаешь характер сестры твоей, Родя. Это девушка твёрдая, благоразумная, терпеливая и великодушная, хотя и с пылким сердцем, что я хорошо в ней изучила. Конечно, ни с её, ни с его стороны особенной любви тут нет, но Дуня, кроме того что девушка умная, – в то же время и существо благородное, как ангел, и за долг поставит себе составить счастье мужа, который, в свою очередь, стал бы заботиться о её счастье, а в последнем мы не имеем покамест больших причин сомневаться, хотя и скоренько, признаться, сделалось дело. К тому же он человек очень расчётливый и, конечно, сам увидит, что его собственное супружеское счастье будет тем вернее, чем Дунечка будет за ним счастливее. А что там какие-нибудь неровности в характере, какие-нибудь старые привычки и даже некоторое несогласие в мыслях (чего и в самых счастливых супружествах обойти нельзя), то на этот счёт Дунечка сама мне сказала, что она на себя надеется, что беспокоиться тут нечего и что она многое может перенести, под условием если дальнейшие отношения будут честные и справедливые. Он, например, и мне показался сначала как бы резким; но ведь это может происходить именно оттого, что он прямодушный человек, и непременно так. Например, при втором визите, уже получив согласие, в разговоре он выразился, что уж и прежде, не зная Дуни, положил взять девушку честную, но без приданого, и непременно такую, которая уже испытала бедственное положение; потому, как объяснил он, что муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если жена считает мужа за своего благодетеля.

Прибавлю, что он выразился несколько мягче и ласковее, чем я написала, потому что я забыла настоящее выражение, а помню одну только мысль, и, кроме того, сказал он это отнюдь не преднамеренно, а, очевидно, проговорившись, в пылу разговора, так что даже старался потом поправить и смягчить; но мне всё-таки показалось это немного как бы резко, и я сообщила потом Дуне. Но Дуня даже с досадой отвечала мне, что «слова ещё не дело», и это, конечно, справедливо.

Пред тем как решиться, Дунечка не спала всю ночь и, полагая, что я уже сплю, встала с постели и всю ночь ходила взад и вперёд по комнате; наконец стала на колени и долго и горячо молилась перед образом, а наутро объявила мне, что она решилась.

Я уже упомянула, что Пётр Петрович отправляется теперь в Петербург. У него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. Он давно уже занимается хождением по разным искам и тяжбам и на днях только что выиграл одну значительную тяжбу. В Петербург же ему и потому необходимо, что там у него одно значительное дело в сенате. Таким образом, милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всём, и мы с Дуней уже положили, что ты, даже с теперешнего же дня, мог бы определённо начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно определившеюся. О, если б это осуществилось! Это была бы такая выгода, что надо считать её не иначе как прямою к нам милостию вседержителя. Дуня только и мечтает об этом. Мы уже рискнули сказать несколько слов на этот счёт Петру Петровичу. Он выразился осторожно и сказал, что, конечно, так как ему без секретаря обойтись нельзя, то, разумеется, лучше платить жалованье родственнику, чем чужому, если только тот окажется способным к должности (ещё бы ты-то не оказался способен!), но тут же выразил и сомнение, что университетские занятия твои не оставят тебе времени для занятий в его конторе. На этот раз тем дело и кончилось, но Дуня ни о чём, кроме этого, теперь и не думает. Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем и даже компаньоном Петра Петровича по его тяжёлым занятиям, тем более что ты сам на юридическом факультете. Я, Родя, вполне с нею согласна и разделяю все её планы и надежды, видя в них полную вероятность; и, несмотря на теперешнюю весьма объясняемую уклончивость Петра Петровича (потому что он тебя ещё не знает), Дуня твёрдо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она уверена. Уж, конечно, мы остереглись проговориться Петру Петровичу хоть о чём-нибудь из этих дальнейших мечтаний наших и, главное, о том, что ты будешь его компаньоном. Он человек положительный и, пожалуй, принял бы очень сухо, так как всё это показалось бы ему одними только мечтаниями. Равным образом ни я, ни Дуня ни полслова ещё не говорили с ним о крепкой надежде нашей, что он поможет нам способствовать тебе деньгами, пока ты в университете; потому не говорили, что, во-первых, это и само собой сделается впоследствии, и он, наверно, без лишних слов, сам предложит (ещё бы он в этом-то отказал Дунечке), тем скорее, что ты и сам можешь стать его правою рукой по конторе и получать эту помощь не в виде благодеяния, а в виде заслуженного тобою жалованья. Так хочет устроить Дунечка, и я с нею вполне согласна. Во-вторых же, потому не говорили, что мне особенно хотелось поставить тебя с ним, при предстоящей теперешней встрече нашей, на ровной ноге. Когда Дуня говорила ему о тебе с восторгом, он отвечал, что всякого человека нужно сначала осмотреть самому, и поближе, чтоб о нём судить, и что он сам предоставляет себе, познакомясь с тобой, составить о тебе своё мнение. Знаешь что, бесценный мой Родя, мне кажется, по некоторым соображениям (впрочем, отнюдь не относящимся к Петру Петровичу, а так, по некоторым моим собственным, личным, даже, может быть, старушечьим, бабьим капризам), – мне кажется, что я, может быть, лучше сделаю, если буду жить после их брака особо, как и теперь живу, а не вместе с ними. Я уверена вполне, что он будет так благороден и деликатен, что сам пригласит меня и предложит мне не разлучаться более с дочерью, и если ещё не говорил до сих пор, то, разумеется, потому что и без слов так предполагается; но я откажусь. Я замечала в жизни не раз, что тёщи не очень-то бывают мужьям по сердцу, а я не только не хочу быть хоть кому-нибудь даже в малейшую тягость, но и сама хочу быть вполне свободною, покамест у меня хоть какой-нибудь свой кусок да такие дети, как ты и Дунечка. Если возможно, то поселюсь подле вас обоих, потому что, Родя, самое-то приятное я приберегла к концу письма: узнай же, милый друг мой, что, может быть, очень скоро мы сойдёмся все вместе опять и обнимемся все трое после почти трёхлетней разлуки! Уже наверно решено,

что я и Дуня выезжаем в Петербург, когда именно, не знаю, но, во всяком случае, очень, очень скоро, даже, может быть, через неделю. Всё зависит от распоряжений Петра Петровича, который, как только осмотрится в Петербурге, тотчас же и даст нам знать. Ему хочется, по некоторым расчётам, как можно поспешить церемонией брака и даже, если возможно будет, сыграть свадьбу в теперешний же мясоед, а если не удастся, по краткости срока, то тотчас же после госпожинок. О, с каким счастьем прижму я тебя к моему сердцу! Дуня вся в волнении от радости свидания с тобой и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. Ангел она! Она теперь ничего тебе не приписывает, а велела только мне написать, что ей так много надо говорить с тобой, так много, что теперь у ней и рука не поднимается взяться за перо, потому что в нескольких строках ничего не напишешь, а только себя расстроишь; велела же тебя обнять крепче и переслать тебе бессчётно поцелуев. Но, несмотря на то что мы, может быть, очень скоро сами сойдёмся лично, я всё-таки тебе на днях вышлю денег, сколько могу больше. Теперь, как узнали все, что Дунечка выходит за Петра Петровича, и мой кредит вдруг увеличился, и я наверно знаю, что Афанасий Иванович поверит мне теперь в счёт пенсионера даже до семидесяти пяти рублей, так что я тебе, может быть, рублей двадцать пять или даже тридцать пришлю. Прислала бы и больше, но боюсь за наши расходы дорожные; хотя Пётр Петрович был так добр, что взял на себя часть издержек по нашему проезду в столицу, а именно сам вызвался, на свой счёт, доставить нашу поклажу и большой сундук (как-то у него там через знакомых), но всё-таки нам надо рассчитывать и на приезд в Петербург, в который нельзя показаться без гроша, хоть на первые дни. Мы, впрочем, уже всё рассчитали с Дунечкой до точности, и вышло, что дорога возьмёт немного. До железной дороги от нас всего только девяносто вёрст, и мы уже на всякий случай сговорились с одним знакомым нам мужичком-извозчиком; а там мы с Дунечкой благополучно прокатимся в третьем классе. Так что, может быть, я тебе не двадцать пять, а, наверно, тридцать рублей изловчусь выслать. Но довольно; два листа кругом уписала, и места уж больше не остаётся; целая наша история; ну да и происшествий-то сколько накопилось! А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и благословляю тебя материнским благословением моим. Люби Дуню, свою сестру, Родя; люби так, как она тебя любит, и знай, что она тебя беспрдельно, больше себя самой любит. Она ангел, а ты, Родя, ты у нас всё – вся надежда наша и всё упование. Был бы только ты счастлив, и мы будем счастливы. Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благость творца и искупителя нашего? Боюсь я, в сердце своём, не посетило ли и тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя молюсь. Вспомни, милый, как ещё в детстве своём, при жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у меня на коленях и как мы все тогда были счастливы! Прощай, или, лучше, *до свидания!* Обнимаю тебя крепко-крепко и целую бессчётно.

Твоя до гроба

Пульхерия Раскольников».

Почти всё время, как читал Раскольников, с самого начала письма, лицо его было мокро от слёз; но когда он кончил, оно было бледно, искривлено судорогой, и тяжёлая, желчная, злая улыбка змеилась по его губам. Он прилёг головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал. Сильно билось его сердце, и сильно волновались его мысли. Наконец ему стало душно и тесно в этой жёлтой каморке, похожей на шкаф или на сундук. Взор и мысль просили простору. Он схватил шляпу и вышел, на этот раз уже не опасаясь с кем-нибудь встретиться на лестнице; забыл он об этом. Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В-й проспект, как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шёл, не замечая дороги, шепча про себя и даже говоря вслух с собою, чем очень удивлял прохожих. Многие принимали его за пьяного.

IV

Письмо матери его измучило. Но относительно главного, капитального пункта сомнений в нём не было ни на минуту, даже в то ещё время, как он читал письмо. Главная суть дела была решена в его голове, и решена окончательно: «Не бывать этому браку, пока я жив, и к чёрту господина Лужина!»

«Потому что это дело очевидное, – бормотал он про себя, ухмыляясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения. – Нет, мамаша, нет, Дуня, не обмануть меня вам!.. И ещё извиняются, что моего совета не попросили и без меня дело решили! Ещё бы! Думают, что теперь уж и разорвать нельзя, а посмотрим – лъзя или нельзя! Отговорка-то какая капитальная: „уж такой, дескать, деловой человек Пётр Петрович, такой деловой человек, что и жениться-то иначе не может как на почтовых, чуть не на железной дороге“. Нет, Дунечка, всё вижу и знаю, о чём ты со мной мног-то говорить собираешься; знаю и то, о чём ты всю ночь продумала, ходя по комнате, и о чём молилась перед Казанскою божией матерью, которая у мамыши в спальне стоит. На Голгофу-то тяжело всходить. Гм... Так, значит, решено уж окончательно: за делового и рационального человека изволите выходить, Авдотья Романовна, имеющего свой капитал (*уже* имеющего свой капитал, это солиднее, внушительнее), служащего в двух местах и разделяющего убеждения новейших наших поколений (как пишет мамаша) и, „*кажется*, доброго“, как замечает сама Дунечка. Это *кажется* всего великолепно! И эта же Дунечка за это же *кажется* замуж идёт!.. Великолепно! Великолепно!..

...А любопытно, однако ж, для чего мамаша о „новейших-то поколениях“ мне написала? Просто ли для характеристики лица или с дальнейшею целью: задобрить меня в пользу господина Лужина? О, хитрые! Любопытно бы разъяснить ещё одно обстоятельство: до какой степени они обе были откровенны друг с дружкой в тот день и в ту ночь, и во всё последующее время? Все ли *слова* между ними были прямо произнесены, или обе поняли, что у той и у другой одно в сердце и в мыслях, так уж нечего вслух-то всего выговаривать да напрасно проговариваться. Вероятно, оно так отчасти и было; по письму видно: мамаше он показался резок, *немножко*, а наивная мамаша и полезла к Дуне с своими замечаниями. А та, разумеется, рассердилась и „отвечала с досадой“. Ещё бы! Кого не взбесит, когда дело понятно и без наивных вопросов и когда решено, что уж нечего говорить. И что это она пишет мне: „Люби Дуню, Родя, а она тебя больше себя самой любит“; уж не угрызения ли совести её самое втайне мучат, за то, что дочерью сыну согласилась пожертвовать. „Ты наше упование, ты наше всё!“ О мамаша!..» Злоба наikipала в нём всё сильнее и сильнее, и если бы теперь встретился с ним господин Лужин, он, кажется, убил бы его! «Гм, это правда, – продолжал он, следуя за вихрем мыслей, крутившимся в его голове, – это правда, что к человеку надо „подходить постепенно и осторожно, чтобы разузнать его“; но господин Лужин ясен. Главное, „человек деловой и, *кажется*, добрый“: шутка ли, поклажу взял на себя, большой сундук на свой счёт доставляет! Ну как же не добрый? А они-то обе, *невеста* и мать, мужичка подражают, в телеге, рогожею крытой (я ведь так ездил)! Ничего! Только ведь девяносто вёрст, „а там благополучно прокатимся в третьем классе“, вёрст тысячу. И благоразумно: по одежке протягивай ножки; да вы то, г-н Лужин, чего же? Ведь это ваша невеста... И не могли же вы не знать, что мать под свой пенсион на дорогу вперёд занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут деловой-то человек их поднадул немножко: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а пожалуй, что и задаром пойдёт. Что ж они обе не видят, что ль, этого, аль нарочно не замечают? И ведь довольны, довольны! И как подумать, что это только цветочки, а настоящие фрукты впереди! Ведь тут что важно: тут не скупость, не скал-

дырничество²¹ важно, а *тон* всего этого. Ведь это будущий тон после брака, пророчество... Да и мамаша-то чего ж, однако, кутит? С чем она в Петербург-то явится? С тремя целковыми аль с двумя „билетиками“, как говорит та... старуха... гм! Чем же жить-то в Петербурге она надеется потом-то? Ведь она уже по каким-то причинам успела догадаться, что ей с Дуней *нельзя* будет вместе жить после брака, даже и в первое время? Милый-то человек, наверно, как-нибудь тут *проговорился*, дал себя знать, хоть мамаша и отмахивается обеими руками от этого: „Сама, дескать, откажусь“. Что ж она, на кого же надеется: на сто двадцать рублей пенсионера, с вычетом на долг Афанасию Ивановичу? Косыночки она там зимние вяжет да нарукавнички вышивает, глаза свои старые портит. Да ведь косыночки всего только двадцать рублей в год прибавляют к ста двадцати-то рублям, это мне известно. Значит, всё-таки на благородство чувств господина Лужина надеются: „Сам, дескать, предложит, упрашивать будет“. Держи карман! И так-то вот всегда у этих шиллеровских прекрасных душ бывает: до последнего момента рядят человека в павлиньи перья, до последнего момента на добро, а не на худо надеются; и хоть предчувствуют оборот медали, но ни за что себе заранее настоящего слова не выговарят; коробит их от одного помышления; обеими руками от правды отмахиваются, до тех самых пор, пока разукрашенный человек им собственноручно нос не налепит. А любопытно, есть ли у господина Лужина ордена; об заклад быюсь, что Анна в петлице²² есть и что он её на обеды у подрядчиков и у купцов надевает. Пожалуй, и на свадьбу свою наденет! А впрочем, чёрт с ним!..

...Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! Ведь вам уже двадцатый год был тогда, как последний-то раз мы виделись: характер-то ваш я уже понял. Мамаша вон пишет, что „Дунечка многое может снести“. Это я знал-с. Это я два с половиной года назад уже знал и с тех пор два с половиной года об этом думал, об этом именно, что „Дунечка многое может снести“. Уж когда господина Свидригайлова, со всеми последствиями, может снести, значит, действительно многое может снести. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию о преимуществе жён, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да ещё излагающего чуть не при первом свидании. Ну да положим, он „проговорился“, хоть и рациональный человек (так что, может быть, и вовсе не проговорился, а именно в виду имел поскорее разъяснить), но Дуня-то, Дуня? Ведь ей человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. Ведь она хлеб чёрный один будет есть да водой запивать, а уж душу свою не продаст, а уж нравственную свободу свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. Нет, Дуня не та была, сколько я знал, и... ну да уж, конечно, не изменилась и теперь!.. Что говорить! Тяжелы Свидригайловы! Тяжело за двести рублей всю жизнь в гувернантках по губерниям шляться, но я всё-таки знаю, что сестра моя скорее в негры пойдёт к плантатору или в латыши к остзейскому немцу, чем оподлит дух свой и нравственное чувство своё связью с человеком, которого не уважает и с которым ей нечего делать, – навеки, из одной своей личной выгоды! И будь даже господин Лужин весь из одного чистейшего золота или из цельного бриллианта, и тогда не согласится стать законною наложницей господина Лужина! Почему же теперь соглашается? В чём же штука-то? В чём же разгадка-то? Дело ясное: для себя, для комфорта своего, даже для спасения себя от смерти, себя не продаст, а для другого вот и продаёт! Для милого, для обожаемого человека продаст! Вот в чём вся наша штука-то и состоит: за брата, за мать продаст! Всё продаст! О, тут мы при случае и нравственное чувство наше придавим; свободу, спокойствие, даже совесть, всё, всё на толкучий рынок снесём. Пропадай жизнь! Только бы эти возлюбленные существа наши были счастливы. Мало того, свою собственную казуистику выдумаем, у иезуитов научимся и на время, пожалуй, и себя самих успокоим, убедим себя, что так надо, действительно надо для доброй цели. Таковы-то мы и

²¹ Скалдырничать – проявлять жадность, скупость.

²² Орден Святой Анны, в данном случае, вероятно, IV – низшей степени отличия.

есть, и всё ясно как день. Ясно, что тут не кто иной, как Родион Романович Раскольников в ходу и на первом плане стоит. Ну как же-с, счастье его может устроить, в университете содержать, компаньоном сделать в конторе, всю судьбу его обеспечить; пожалуй, богачом впоследствии будет, почётным, уважаемым, а может быть, даже славным человеком окончит жизнь! А мать? Да ведь тут Родя, бесценный Родя, первенец! Ну как для такого первенца хотя бы и такую дочь не пожертвовать! О милые и несправедливые сердца! Да чего: тут мы и от Сонечкина жребия пожалуй что не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли? Знаете ли вы, Дунечка, что Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным? „Любви тут не может быть“, – пишет мамаша. А что, если, кроме любви-то, и уважения не может быть, а, напротив, уже есть отвращение, презрение, омерзение, что же тогда? А и выходит тогда, что опять, стало быть, „чистоту наблюдать“ придётся. Не так, что ли? Понимаете ли, понимаете ли, понимаете ли вы, что значит сия чистота? Понимаете ли вы, что лужинская чистота всё равно что и Сонечкина чистота, а может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, всё-таки на излишек комфорта расчёт, а там просто-запросто о голодной смерти дело идёт! „Дорого, дорого стоит, Дунечка, сия чистота!“ Ну, если потом не под силу станет, раскаетесь? Скорби-то сколько, грусти, проклятий, слёз-то, скрывааемых ото всех, сколько, потому что не Марфа же вы Петровна? А с матерью что тогда будет? Ведь она уж и теперь беспокойна, мучается; а тогда, когда всё ясно увидит? А со мной?.. Да что же вы в самом деле обо мне-то подумали? Не хочу я вашей жертвы, Дунечка, не хочу, мамаша! Не бывать тому, пока я жив, не бывать, не бывать! Не принимаю!»

Он вдруг очнулся и остановился.

«Не бывать? А что же ты сделаешь, чтоб этому не бывать? Запретишь? А право какое имеешь? Что ты им можешь обещать в свою очередь, чтобы право такое иметь? Вся судьбу свою, всю будущность им посвятить, *когда кончишь курс и место достанешь*? Слышали мы это, да ведь это *буки*, а теперь? Ведь тут надо теперь же что-нибудь сделать, понимаешь ты это? А ты что теперь делаешь? Обираешь их же. Ведь деньги-то им под сторублёвый пенсион да под господ Свидригайловых под заклад достаются! От Свидригайловых-то, от Афанасия-то Ивановича Вахрушина чем ты их убережёшь, миллионер будущий, Зевес, их судьбою располагающий? Через десять-то лет? Да в десять-то лет мать успеет ослепнуть от косынок, а пожалуй что и от слёз; от поста исчахнет; а сестра? Ну, придумай-ка, что может быть с сестрой через десять лет али в эти десять лет? Догадался?»

Так мучил он себя и поддразнивал этими вопросами, даже с каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. Давным-давно как зародилась в нём вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения. Теперь же письмо матери вдруг как громом в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями, о том, что вопросы неразрешимы, а непременно что-нибудь сделать, и сейчас же, и поскорее. Во что бы то ни стало надо решиться, хоть на что-нибудь, или...

«Или отказаться от жизни совсем! – вскричал он вдруг в исступлении, – послушно принять судьбу, как она есть, раз навсегда, и задушить в себе всё, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!»

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? – вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, – ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...»

Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он *предчувствовал*, что она

непременно «пронесётся», и уже ждал её; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера ещё, она была только мечтой, а теперь... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему стукнуло в голову, и потемнело в глазах.

Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть, и он искал скамейку; проходил же он тогда по К-му бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах во ста. Он пошёл сколько мог поскорее; но на пути случилось с ним одно маленькое приключение, которое на несколько минут привлекло к себе всё его внимание.

Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шёл, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и с первого же взгляда бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться, – сначала нехотя и как бы с досадой, а потом всё крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками. На ней было шёлковое, из лёгкой материи («матерчатое») платье, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застёгнутое, и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клочок отставал и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнажённую шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвёрдо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, всё внимание Раскольникова. Он сошёл с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на неё, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в неё, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, лет шестнадцати, даже, может быть, только пятнадцати, – маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но всё разгоревшееся и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну ногу заложила за другую, причём выставила её гораздо больше, чем следовало, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице.

Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, шагах в пятнадцати, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями. Он тоже, вероятно, увидел её издали и догонял, но ему помешал Раскольников. Он бросал на него злобные взгляды, стараясь, впрочем, чтобы тот их не заметил, и нетерпеливо ожидал своей очереди, когда досадный оборванец уйдёт. Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошёл к господину.

– Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? – крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами.

– Это что значит? – строго спросил господин, нахмутив брови и свысока удивившись.

– Убирайтесь, вот что!

– Как ты смеешь, каналья!..

И он взмахнул хлыстом. Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог управиться и с двумя такими, как он. Но в эту минуту кто-то крепко схватил его сзади, между ними стал городской.

– Полно, господа, не извольте драться в публичных местах. Вам чего надо? Кто таков? – строго обратился он к Раскольникову, разглядев его лохмотья.

Раскольников посмотрел на него внимательно. Это было бравое солдатское лицо с седыми усами и бакенами и с толковым взглядом.

– Вас-то мне и надо, – крикнул он, хватая его за руку. – Я бывший студент, Раскольников... Это и вам можно узнать, – обратился он к господину, – а вы пойдёте-ка, я вам что-то покажу...

И, схватив городского за руку, он потащил его к скамейке.

– Вот, смотрите, совсем пьяная, сейчас шла по бульвару: кто её знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули... в первый раз... понимаете? да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь её одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. Это видно. А вот теперь смотрите сюда: этот франт, с которым я сейчас драться хотел, мне незнаком, первый раз вижу; но он её тоже отметил дорогой сейчас, пьяную-то, себя-то не помнящую, и ему ужасно теперь хочется подойти и перехватить её, – так как она в таком состоянии, – завести куда-нибудь... И уж это наверно так; уж поверьте, что я не ошибаюсь. Я сам видел, как он за нею наблюдал и следил, только я ему помешал, и он теперь всё ждёт, когда я уйду. Вон он теперь отошёл маленько, стоит, будто папироску свёртывает... Как бы нам ему не дать? Как бы нам её домой отправить, – подумайте-ка!

Городовой мигом всё понял и сообразил. Толстый господин был, конечно, понятен, оставалась девочка. Служивый нагнулся над нею разглядеть поближе, и искреннее сострадание изобразилось в его чертах.

– Ах, жаль-то как! – сказал он, качая головой, – совсем ещё как ребёнок. Обманули, это как раз. Послушайте, сударыня, – начал он звать её, – где изволите проживать? – Девушка открыла усталые и посоловелые глаза, тупо посмотрела на допрашивающих и отмахнулась рукой.

– Послушайте, – сказал Раскольников, – вот (он пошарил в кармане и вытащил двадцать копеек; нашлись), вот, возьмите извозчика и велите ему доставить по адресу. Только бы адрес-то нам узнать!

– Барышня, а барышня? – начал опять городской, приняв деньги, – я сейчас извозчика вам возьму и сам вас препровожу. Куда прикажете? А? Где изволите квартировать?

– Пшла!.. пристають!.. – пробормотала девочка и опять отмахнулась рукой.

– Ах, ах, как нехорошо! Ах, стыдно-то как, барышня, стыд-то какой! – Он опять закачал головой, стыдя, сожалея и негодуя. – Ведь вот задача! – обратился он к Раскольникову и тут же, мельком, опять оглядел его с ног до головы. Странен, верно, и он ему показался: в таких лохмотьях, а сам деньги выдаёт!

– Вы далеко ль отсюда их нашли? – спросил он его.

– Говорю вам: впереди меня шла, шатаясь, тут же на бульваре. Как до скамейки дошла, так и повалилась.

– Ах, стыд-то какой теперь завёлся на свете, господи! Этакая немудрёная, и уж пьяная! Обманули, это как есть! Вон и платьице ихнее разорвано... Ах, как разврат-то ноне пошёл!.. А пожалуй что из благородных будет, из бедных каких... Ноне много таких пошло. По виду-то как бы из нежных, словно ведь барышня, – и он опять нагнулся над ней.

Может, и у него росли такие же дочери – «словно как барышни и из нежных», с замашками благовоспитанных и со всяким перенятым уже модничаньем...

– Главное, – хлопотал Раскольников, – вот этому подлецу как бы не дать! Ну что ж он ещё над ней надругается! Наизусть видно, чего ему хочется; ишь подлец, не отходит!

Раскольников говорил громко и указывал на него прямо рукой. Тот услышал и хотел было опять рассердиться, но одумался и ограничился одним презрительным взглядом. Затем медленно отошёл ещё шагов десять и опять остановился.

– Не дать-то им это можно-с, – отвечал унтер-офицер в раздумье. – Вот кабы они сказали, куда их предоставить, а то... Барышня, а барышня! – нагнулся он снова.

Та вдруг совсем открыла глаза, посмотрела внимательно, как будто поняла что-то такое, встала со скамейки и пошла обратно в ту сторону, откуда пришла.

– Фу, бесстыдники, пристают! – проговорила она, ещё раз отмахнувшись. Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошёл за нею, но по другой аллее, не спуская с неё глаз.

– Не беспокойтесь, не дам-с, – решительно сказал усач и отправился вслед за ними.

– Эх, разврат-то как ноне пошёл! – повторил он вслух, вздыхая.

В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.

– Послушайте, эй! – закричал он вслед усачу. Тот оборотился.

– Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится (он указал на франта). Вам-то чего? Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся.

– Э-эх! – проговорил служивый, махнув рукой, и пошёл вслед за франтом и за девочкой, вероятно приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь ещё хуже.

«Двадцать копеек мои унёс, – злобно проговорил Раскольников, оставшись один. – Ну пусть и с того тоже возьмёт, да и отпустит с ним девочку, тем и кончится... И чего я ввязался тут помогать? Ну мне ль помогать? Имею ль я право помогать? Да пусть их переглодают друг друга живём, – мне-то чего? И как я смел отдать эти двадцать копеек. Разве они мои?»

Несмотря на эти странные слова, ему стало очень тяжело. Он присел на оставленную скамью. Мысли его были рассеянны... Да и вообще тяжело ему было думать в эту минуту о чём бы то ни было. Он бы хотел совсем забыться, всё забыть, потом проснуться и начать совсем сызнова...

– Бедная девочка! – сказал он, посмотрев в опустевший угол скамьи. – Очнётся, поплачет, потом мать узнает... Сначала прибёт, а потом высечет, больно и с позором, пожалуй, и сгонит... А не сгонит, так всё-таки пронюхают Дарьи Францевны, и начнёт шмыгать моя девочка, туда да сюда... Потом тотчас больница (и это всегда у тех, которые у матерей живут очень честных и тихонько от них пошаливают), ну а там... А там опять больница... вино... кабаки... И ещё больница... года через два-три – калека, итого житья её девятнадцать аль восемнадцать лет от роду всего-с... Разве я таких не видал? А как они делались? Да вот всё так и делались... Тьфу! А пусть! Это, говорят, так и следует... Такой процент, говорят, должен уходить каждый год... куда-то... к чёрту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать. Процент! Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, спокойнее... А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадёт!.. Не в тот, так в другой?..

«А куда ж я иду? – подумал он вдруг. – Странно. Ведь я зачем-то пошёл. Как письмо прочёл, так и пошёл... На Васильевский остров, к Разумихину я пошёл, вот куда, теперь... помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне именно теперь в голову? Это замечательно».

Он дивился себе. Разумихин был один из его прежних товарищей по университету. Замечательно, что Раскольников, быв в университете, почти не имел товарищей, всех чуждался, ни к кому не ходил и у себя принимал тяжело. Впрочем, и от него скоро все отвернулись. Ни в общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чём он как-то не принимал участия. Занимался он усиленно, не жалея себя, и за это его уважали, но никто не любил. Был он очень беден и как-то надменно горд и несообщителен: как будто что-то таил про себя. Иным товарищам его

казалось, что он смотрит на них на всех, как на детей, свысока, как будто он всех их опередил и развитием, и знанием, и убеждениями, и что на их убеждения и интересы он смотрит как на что-то низшее.

С Разумихиным же он почему-то сошёлся, то есть не то что сошёлся, а был с ним общительнее, откровеннее. Впрочем, с Разумихиным невозможно было и быть в других отношениях. Это был необыкновенно весёлый и общительный парень, добрый до простоты. Впрочем, под этою простотою таились и глубина, и достоинство. Лучшие из его товарищей понимали это, все любили его. Был он очень неглуп, хотя и действительно иногда простоват. Наружность его была выразительная – высокий, худой, всегда худо выбритый, черноволосый. Иногда он буянил и слыл за силача. Однажды ночью, в компании, он одним ударом ссадил одного блюстителя вершков двенадцати росту. Пить он мог до бесконечности, но мог и совсем не пить; иногда проказил даже непозволительно, но мог и совсем не проказить. Разумихин был ещё тем замечателен, что никакие неудачи его никогда не смущали и никакие дурные обстоятельства, казалось, не могли придавить его. Он мог квартировать хоть на крыше, терпеть адский голод и необыкновенный холод. Был он очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источников, где мог почерпнуть, разумеется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверждал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. В настоящее время он тоже принуждён был выйти из университета, но ненадолго, и из всех сил спешил поправить обстоятельства, чтобы можно было продолжать. Раскольников не был у него уже месяца четыре, а Разумихин и не знал даже его квартиры. Раз как-то, месяца два тому назад, они было встретились на улице, но Раскольников отвернулся и даже перешёл на другую сторону, чтобы тот его не заметил. А Разумихин хоть и заметил, но прошёл мимо, не желая тревожить *приятеля*.

V

«Действительно, я у Разумихина недавно ещё хотел было работы просить, чтоб он мне или уроки достал, или что-нибудь... – додумывался Раскольников, – но чем теперь-то он мне может помочь? Положим, уроки достанет, положим, даже последнюю копейкой поделится, если есть у него копейка, так что можно даже и сапоги купить, и костюм поправить, чтобы на уроки ходить... гм... Ну, а дальше? На пятаки-то что ж я сделаю? Мне разве того теперь надобно? Право, смешно, что я пошёл к Разумихину...»

Вопрос, почему он пошёл теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с беспокойством отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке.

«Что ж, неужели я всё дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашёл в Разумихине?» – спрашивал он себя с удивлением.

Он думал и тёр себе лоб, и, странное дело, как-то невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна престранная мысль.

«Гм... к Разумихину, – проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения, – к Разумихину я пойду, это конечно... но – не теперь... Я к нему... на другой день после того пойду, когда уже то будет кончено и когда всё по-новому пойдёт...»

И вдруг он опомнился.

«После того, – вскрикнул он, срываясь со скамейки, – да разве то будет? Неужели в самом деле будет?»

Он бросил скамейку и пошёл, почти побежал; он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало всё это вот уже более месяца, и он пошёл куда глаза глядят.

Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он чувствовал даже озноб; на такой жаре ему становилось холодно. Как бы с усилием начал он, почти бессознательно, по какой-то внутренней необходимости, всматриваться во все встречавшиеся предметы, как будто ища усиленно развлечения, но это плохо удавалось ему, и он поминутно впадал в задумчивость. Когда же опять, вздрагивая, поднимал голову и оглядывался кругом, то тотчас же забывал, о чём сейчас думал и даже где проходил. Таким образом прошёл он весь Васильевский остров, вышел на Малую Неву, перешёл мост и поворотил на острова. Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к извёстке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. Иногда он останавливался перед какою-нибудь изукрашенною в зелени дачей, смотрел в ограду, видел вдаль, на балконах и на террасах, разряженных женщин и бегающих в саду детей. Особенно занимали его цветы; он на них всего дольше смотрел. Встречались ему тоже пышные коляски, наездники и наездницы; он провожал их с любопытством глазами и забывал о них прежде, чем они скрывались из глаз. Раз он остановился и пересчитал свои деньги; оказалось около тридцати копеек. «Двадцать городскому, три Настасье за письмо... – значит, Мармеладовым дал вчера копеек сорок семь али пятьдесят», – подумал он, для чего-то рассчитывая, но скоро забыл даже, для чего и деньги вытащил из кармана. Он вспомнил об этом, проходя мимо одного съестного заведения, вроде харчевни, и почувствовал, что ему хочется есть. Войдя в харчевню, он выпил рюмку водки и съел с какою-то начинкой пирог. Доел он его опять на дороге. Он очень давно не пил водки, и она миглом подействовала, хотя выпита была всего одна рюмка. Ноги его вдруг отяжелели, и он начал чувствовать сильный позыв ко сну. Он пошёл домой; но, дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошёл с дороги, вошёл в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул.

В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостью, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того вероятны и с такими тонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте картины подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или Тургенев. Такие сны, болезненные сны, всегда долго помнятся и производят сильное впечатление на расстроенный и уже возбуждённый организм человека.

Страшный сон приснился Раскольникову. Приснилось ему его детство, ещё в их городке. Он лет семи и гуляет в праздничный день, под вечер, с своим отцом за городом. Время серенькое, день удушливый, местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась теперь во сне. Городок стоит открыто, как на ладони, кругом ни ветлы; где-то очень далеко, на самом краю неба, чернеется лесок. В нескольких шагах от последнего городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший на него неприятнейшее впечатление и даже страх, когда он проходил мимо его, гуляя с отцом. Там всегда была такая толпа, так орали, хохотали, ругались, так безобразно и сипло пели и так часто дрались; кругом кабака шлялись всегда такие пьяные и страшные рожи... Встречаясь с ними, он тесно прижимался к отцу и весь дрожал. Возле кабака дорога, просёлок, всегда пыльная, и пыль на ней всегда такая чёрная. Идёт она, извиваясь, далее и шагах в трёхстах огибает вправо городское кладбище. Среди кладбища каменная церковь, с зелёным куполом, в которую он раза два в год ходил с отцом и с матерью к обедне, когда служились панихиды²³ по его бабушке, умершей уже давно и которую он никогда не видал. При этом всегда они брали с собой кутью на белом блюде, в салфетке, а кутья²⁴ была сахарная из

²³ Панихида – заупокойная служба.

²⁴ Кутья – традиционная каша с добавлением мёда, орехов и сухофруктов, подаваемая на поминках.

рису и изюму, вдавленного в рис крестом. Он любил эту церковь и старинные в ней образа, большею частью без окладов, и старого священника с дрожащею головой. Подле бабушкиной могилы, на которой была плита, была и маленькая могила его меньшого брата, умершего шести месяцев и которого он тоже совсем не знал и не мог помнить: но ему сказали, что у него был маленький брат, и он каждый раз, как посещал кладбище, религиозно и почтительно крестился над могилой, кланялся ей и целовал её. И вот снится ему: они идут с отцом по дороге к кладбищу и проходят мимо кабака; он держит отца за руку и со страхом оглядывается на кабак. Особенное обстоятельство привлекает его внимание: на этот раз тут как будто гулянье, толпа разодетых мещанок, баб, их мужей и всякого сброду. Все пьяны, все поют песни, а подле кабачного крыльца стоит телега, но странная телега. Это одна из тех больших телег, в которые впрягают больших ломовых лошадей и перевозят в них товары и винные бочки. Он всегда любил смотреть на этих огромных ломовых коней, долгогривых, с толстыми ногами, идущих спокойно, мерным шагом и везущих за собою какую-нибудь целую гору, нисколько не надсаждаясь, как будто им с возами даже легче, чем без возов. Но теперь, странное дело, в большую такую телегу впряжена была маленькая, тощая саврасая крестьянская клячонка, одна из тех, которые – он часто это видел – надрываются иной раз с высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет в грязи или в колее, и при этом их так больно, так больно бьют всегда мужики кнутами, иной раз даже по самой морде и по глазам, а ему так жалко, так жалко на это смотреть, что он чуть не плачет, а мамаша всегда, бывало, отводит его от окошка. Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. «Садись, все садись! – кричит один, ещё молодой, с толстою такою шеей и с мясистым, красным, как морковь, лицом, – всех довезу, садись!» Но тотчас же раздаётся смех и восклицанья:

– Этака кляча да повезёт!

– Да ты, Миколка, в уме, что ли: этаку кобылёнку в таку телегу запрег!

– А ведь савраске-то беспрременно лет двадцать уж будет, братцы!

– Садись, всех довезу! – опять кричит Миколка, прыгая первый в телегу, берёт вожжи и становится на передке во весь рост. – Гнедой даве с Матвеем ушёл, – кричит он с телеги, – а кобылёнка этта, братцы, только сердце моё надрывает: так бы, кажись, её и убил, даром хлеб ест. Говорю, садись! Вскачь пуцу! Вскачь пойдёт! – и он берёт в руки кнут, с наслаждением готовясь сечь савраску.

– Да садись, чего! – хохочут в толпе. – Слышь, вскачь пойдёт! – Она вскачь-то уж десять лет поди не прыгала.

– Запрыгает!

– Не жалей, братцы, бери всяк кнуты, зготовляй! – и то! Секи её!

Все лезут в Миколкину телегу с хохотом и остротами. Налезло человек шесть, и ещё можно посадить. Берут с собою одну бабу, толстую и румяную. Она в кумачах²⁵, в кичке²⁶ с бисером, на ногах коты²⁷, щёлкает орешки и посмеивается. Кругом в толпе тоже смеются, да и впрямь, как не смеяться: этака лядащая кобылёнка да таку тягость вскачь везти будет! Два парня в телеге тотчас же берут по кнуту, чтобы помочь Миколке. Раздаётся: «ну!», клячонка дёргает изо всей силы, но не только вскачь, а даже и шагом-то чуть-чуть может справиться, только семенит ногами, кряхтит и приседает от ударов трёх кнутов, сыплющихся на неё, как горох. Смех в телеге и в толпе удваивается, но Миколка сердится и в ярости сечёт учащёнными ударами кобылёнку, точно и впрямь полагает, что она вскачь пойдёт.

²⁵ Кумач – ярко-красная льняная ткань.

²⁶ Кичка – старинный праздничный головной убор замужней женщины.

²⁷ Коты – тёплая женская обувь.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.